ИММАНУЭЛЬ ВАЛЛЕРСТАЙН[1]

ЛИБЕРАЛИЗМ И ДЕМОКРАТИЯ
Братья-враги?[2]

Понятия «либерализм» и «демократия» впитали в себя множество значений. Каждому из них даются разнообразные, нередко противоречивые определения. К тому же, начиная с первой половины XIX столетия, когда оба эти понятия стали использоваться в политических речах, и до наших дней соотношение между ними остается весьма двусмысленным. В некоторых случаях они казались идентичными или, по меньшей мере, во многом совпадающими по смыслу; в других – выступали чуть ли не как полярные противоположности. На мой взгляд, фактически они были [как бы] братьями-врагами (freres ennemies). В некоторых отношениях они родственны друг другу, но воплощают разнонаправленные тенденции. И их, если так можно выразиться, кровное соперничество весьма интенсивно. Продолжая, я хотел бы сказать, что сегодня поиск приемлемого соотношения между этими двумя идеями, понятиями или ценностями является важной политической задачей, предпосылкой позитивного разрешения очень острых, как я предвижу, социальных конфликтов XXI века. Это вопрос не конкретизации дефиниций, а прежде всего – социального выбора.

Оба понятия отражают реакцию, пусть и различную, на современную миро-систему. Эта миро-система представляет собой капиталистическое миро-хозяйство и основана на приоритете бесконечного накопления капитала. Такая система неизбежно оказывается неэгалитарной и даже поляризованной, причем как в экономическом, так и в социальном аспектах. В то же время значение, которое

---

[1] Иммануэль Валлерстайн (р. 1930) – известный американский социолог и историк. Внес значительный вклад в развитие теории мировой системы, активный исследователь динамики современного общества на основе мультидисциплинарных подходов. Для Валлерстайна характерно признание критического состояния сложившейся исторической системы, когда неизбежны нарастание неопределенности и накопление кардинальных перемен, означающих, по сути, «конец знакомого мира». Вместе с преобразованиями в привычном «мире капитализма» должен измениться и «мир знаний» об обществе.

Валлерстайн выступает за проведение всемирной дискуссии о будущем человечества, которая смогла бы привнести в его постижение большую рациональность и тем самым конструктивно объединить знание, мораль и политику.

[2] Публикуется по: *Валлерстайн И.* Конец знакомого мира: Социология XXI века / Пер. с англ. под ред В.Л.Иноземцева. М.: Логос, 2003.

придается в этой системе проблеме накопления, является мощным фактором установления равенства. [Дело в том, что в таких условиях] подвергается сомнению всякий статус, приобретенный или поддерживающийся на основе любых иных критериев, [кроме накопления капитала], включая и те, что обеспечиваются происхождением человека. Это идеологическое противоречие между иерархией и равенством, имманентное самым глубинным основам капитализма, порождает дилеммы, с которыми сталкиваются все, кто занимает в этой системе привилегированное положение.

Посмотрим на эти дилеммы с позиций основного субъекта капиталистического миро-хозяйства – предпринимателя, иногда именуемого буржуа. Предприниматель стремится к накоплению капитала. К этой цели он идет *с помощью* мирового рынка, но редко достигает ее исключительно *посредством* рынка. Удачливые предприниматели неизбежно зависят от государственной машины, способствующей формированию и поддержанию ими относительно монопольного положения в отдельных секторах [экономики], которое одно только и служит источником по-настоящему значительных прибылей[1].

Если же предприниматель уже накопил значительный капитал, ему придется заботиться о его сохранности, противостоя капризам рынка, а также попыткам украсть [его собственность], конфисковать ее или отобрать под видом налогов. Но даже на этом его проблемы не заканчиваются. Он должен позаботиться также и о том, как передать свой капитал наследникам. Это является не [столько] экономической, [сколько] социопсихологической потребностью, имеющей, тем не менее, серьезные экономические последствия. За необходимостью обеспечить передачу капитала наследникам скрывается не проблема налогов (которая может рассматриваться как аспект защиты рынка от государства), а проблема предпринимательских способностей наследников (подразумевающая, что рынок враждебен наследованию). По большому счету, единственный способ обеспечить некомпетентных потомков возможностью унаследовать и сохранить капитал – это переход от прибыли к ренте как источнику приращения капитала[2]. Но хотя подобное решение и удовлетворяет социопсихологические потребности, оно принижает значимость фактора, социально оправдывающего капиталистичес-

[1] См. также: *Braudel F.* Civilisation tatérielle, économie et capitalisme, XVéme – XVIIIéme siécle, P., 1979 (английский перевод: *Braudel F.* Capitalism and Civilization, 15th to 18th Century. 3 vols. N. Y., 1981–1984).

[2] В каких формах и почему это происходило на протяжении столетий, показано мною в: *Wallerstein I.* The Bourgeois(ie) as Reality and Concept // *Balibar E. and Wallerstein I.* Race, Nation, Class: Ambiguous Identities. L., 1991. P. 135–152.

кое накопление, а именно – рыночной компетентности предпринимателей. Последнее, в свою очередь, порождает неразрешимую политическую дилемму.

Теперь посмотрим на ту же проблему с точки зрения трудящихся, не имеющих возможности накапливать сколь-либо серьезные капиталы. Как известно, при капитализме развитие производительных сил ведет к масштабным индустриализации и урбанизации, а также к территориальной концентрации богатства и высокооплачиваемой занятости. Мы не будем сейчас касаться причин такого положения вещей, остановимся лишь на его политических последствиях. С течением времени (и особенно в принадлежащих к центру [миро-хозяйства], или «более развитых» странах) этот процесс порождает изменение модели стратификации в государственном масштабе, заключающееся в увеличении доли среднего класса и высокооплачиваемых работников, что, соответственно, обусловливает рост их политического влияния. Важнейшим геокультурным следствием Французской революции и установившегося затем наполеоновского режима стала легитимизация политических требований этих слоев, достигавшаяся через утверждение, будто источником национального суверенитета является «народ». И если такой суверенитет был, возможно, совместим с гипотетическим эгалитаризмом рыночного накопления, то для него были абсолютно лишними любые попытки создания рентных источников дохода.

Проблема примирения рыночной идеологии с социопсихологической потребностью в создании рентных источников дохода всегда горячо обсуждалась в предпринимательских кругах. Следствием этого стал противоречивый язык либералов. Попытки жонглирования терминами подготовили почву для взаимоотношений между «либерализмом» и «демократией», остававшихся весьма двусмысленными на протяжении последних двух столетий. В первой половине XIX века, когда эти слова впервые стали широко употребляться как политические термины, основная линия политического водораздела проходила между консерваторами и либералами – «партией порядка» и «партией перемен». Консерваторы были принципиально враждебны Французской революции во всех ее проявлениях: жирондистском, якобинском, наполеоновском. Либералы же рассматривали ее как нечто позитивное, по меньшей мере – в жирондистском варианте, который, как считалось, олицетворял некую аналогию с эволюцией английской парламентской системы. Это положительное отношение к Французской революции, которое вначале, после поражения Наполеона в 1815 году, было весьма осторожным, с годами стало значительно более явным.

В период с 1815 по 1848 год, помимо консерваторов и либералов, появились и те, кого порой называли демократами, чаще – республиканцами, иногда радикалами, изредка – социалистами. Все они, однако, представляли весьма небольшой «левый придаток» либерализма, иногда игравший роль возбуждающего элемента, но чаще только смущавший основную часть либералов. Лишь позднее этот «левый придаток» превратился во вполне оформленное независимое идеологическое движение, обычно именуемое социалистическим. После 1848 года идеологическая палитра стабилизировалась в форме триады идеологий, структурировавших политическую жизнь XIX и XX веков: консерватизма, либерализма и социализма, или радикализма (известных также как правое, центристское и левое движения). Я не буду сейчас повторять, как и почему в период, последовавший за 1848 годом, либерализм как идеология взял верх над своими соперниками, сформировав вокруг себя консенсус, освященный геокультурой современной миро-системы, превратив и консерватизм, и социализм в течения, зависимые от либерализма. Не стану я повторять и того, что этот консенсус сохранялся вплоть до 1968 года, когда он был вновь подвергнут сомнению, дав консерватизму и радикализму возможность возродиться в качестве самостоятельных идеологий[1].

Учитывая цели этой дискуссии, исключительно важно понимать, что после 1848 года противостояние «старому режиму» уже не было главной задачей либералов. Их основное внимание сосредоточилось, скорее, на другой стороне политического спектра и было обращено на то, как противодействовать растущим требованиям демократии. Революции 1848 года впервые продемонстрировали потенциальную мощь воинствующих левых сил, возвестив начало настоящих общественных движений в странах центра, а также национально-освободительных движений в периферийных регионах. Сила этого подъема напугала либералов-центристов, и хотя все революции 1848 года захлебнулись или были подавлены, либералы преисполнились решимости умерить пыл излишне радикальных, как они считали, антисистемных требований, выдвигавшихся «опасными» классами.

Ответные усилия либералов проявились в трех формах. Во-первых, на предстоящие полвека они предложили программу «уступок», которые, по их мнению, могли бы в такой степени удовлетворить

[1] Эта проблема рассмотрена мною в *Wallerstein I.* The French Revolution as a World-Historical Event // *Wallerstein I.* Unthinking Social Science. Cambridge, 1991. P. 7–22, а также в части 2 моей книги: *Wallerstein I.* Afler Liberalism. N. Y., 1995.

выдвигавшиеся требования, чтобы ситуация была стабилизирована, причем без ущерба для основ системы. Во-вторых, они стали открыто отходить от фактически существовавших политических коалиций с левыми (которые они практиковали в 1815 – 1848 годах, когда левые были слабы, а либералы считали своим основным противником консерваторов) в пользу политических коалиций на правом фланге, создавая их, когда бы и где бы им ни померещилась угроза со стороны левых. И, в-третьих, они выработали язык, искусно отделявший либерализм от демократии.

Программа уступок – избирательное право, элементы государства всеобщего благосостояния, объединяющий расистский национализм – была исключительно успешной во всем евро-американском мире и сделала капиталистическую систему способной преодолевать все бури и штормы, за исключением относящихся к последним двум десятилетиям. Вторая мера – политические коалиции с правыми – была реализована либералами с еще большей легкостью, так как правые и сами пришли к аналогичному выводу вследствие событий 1848 года. Основной их политической линией стал «просвещенный консерватизм», и так как по сути он был версией либерализма, не возникало серьезных препятствий на пути создания такой формы парламентаризма, которая предполагала регулярную передачу формальных рычагов власти от одной партии к другой, в то время как их истинные цели тяготели к центристскому консенсусу и никогда значительно от него не отклонялись.

Определенные проблемы порождал лишь третий элемент [новой] тактики, что обусловливалось желанием либералов одновременно достичь двух результатов. Они хотели разделить либерализм и демократию, но в то же время – использовать тему демократии, и даже само это понятие, в качестве объединяющего момента. Именно на этой тематике и ее проблемах я и хотел бы сконцентрировать внимание в нашей дискуссии.

Либерализм, как часто отмечается, начинает свой анализ с индивида, которого считает основным субъектом социального действия. Согласно используемой либералами метафоре, мир состоит из множества независимых индивидов, которые тем или иным образом в тот или иной момент пришли к соглашению (заключили общественный договор) о взаимных обязательствах ради общего блага. При этом либералы изображали данное соглашение как весьма ограниченное. Причина такой трактовки очевидна. Либерализм возник из попыток отстранить людей, имеющих репутацию «компетентных», от произвольного контроля над институтами (церковью, монархией, аристократией и, соответственно, государством), которые либералы

предпочитали видеть в руках менее компетентных людей. Идея ограниченного общественного договора как раз и предлагала логичное обоснование такого положения дел.

Именно этот подход стоит за такими традиционными лозунгами, связывающимися с Французской революцией, как «карьера, открытая талантам». Сочетание слов «открытая» и «талант» передавало суть замысла. Однако такой четкий язык вскоре превратился в более туманный и неопределенный, толковавший о «суверенитете народа». Проблема этой формулы, широко узаконенной идеями Французской революции, заключается в том, что «народ» как группу определить гораздо труднее, чем совокупность «талантливых людей». Последние составляют исчислимую группу, имеющую свои логические пределы. Необходимо лишь договориться о некоторых критериях таланта, вне зависимости от того, являются ли они истинными или ложными, и мы сможем определить, кто достоин в нее войти. Но определение того, кто составляет «народ», в принципе не предполагает критериев, а устанавливается общественным, коллективным мнением; за ним стоит политическое решение, и этот факт никем не оспаривается.

Разумеется, будь мы готовы причислить к «народу» всех и каждого, не возникало бы и проблемы. Но «народ» как политическое понятие используется в первую очередь, чтобы апеллировать к правам, установленным в [том или ином] государстве, и потому становится спорным. Очевидно лишь, что практически никто ни прежде, ни теперь не готов считать «народом» всех, поскольку это означало бы, что любой человек должен располагать всей полнотой политических прав. Существует ряд общепринятых исключений: [в эту группу не входят] дети, умалишенные, преступники, временно проживающие иностранцы, – которые более или менее понятны для подавляющего большинства. Но ведь включение в этот список иных категорий: мигрантов, нищих, бедняков, невежд, женщин – казалось не менее очевидным, в особенности тем, кто сам не был ни мигрантом, ни нищим, ни бедняком, ни невеждой, ни женщиной. [Поэтому] вопрос о том, из кого же состоит «народ», до сих пор и всюду остается одним из основных источников политических противоречий.

На протяжении последних двухсот лет повсюду в мире лишенные прав или обделенные ими постоянно стучались в дверь, толкали ее, пытаясь открыть и всякий раз прося о большем. Стоит впустить нескольких – и немедленно приходят следом другие, требуя, чтобы их тоже впустили. Реакция на эту политическую реальность, очевидную для всех, бывала неодинаковой. В частности, тональность реакций, ассоциировавшихся с либерализмом и демократией, доходила до абсолютно различной, почти противоположной.

Либералы имели обыкновение сдерживать течение. Демократы были склонны рукоплескать ему и подталкивать его. Либералы с особым вниманием относились к характеру процесса; плохой процесс, считали они, приведет к плохим результатам, Демократы больше сосредоточивались на результатах; плохие результаты, по их мнению, указывали на плохой процесс. Либералы обращались к прошлому и подчеркивали, как много уже сделано. Демократы смотрели в будущее и отмечали, как много еще предстоит совершить. Стакан наполовину полон? Или он наполовину пуст? Возможно и то, и другое, но возможно и различие целей.

Главным лозунгом либералов является рациональность. Они выступают наиболее верными наследниками Просвещения. Либералы верят в потенциальную рациональность всех людей, в рациональность не предопределенную, а достигаемую, причем достигаемую посредством образования (Bildung). Образование, однако, может формировать не только просвещенных граждан, наделенных гражданскими добродетелями. Современные либералы прекрасно сознают, что демократия городских собраний, заимствованная из [древне]греческих полисов, невозможна в гораздо больших образованиях, какими являются современные государства, где необходимо принимать решения по широкому кругу сложных вопросов. Либералы разделяют метафору ньютоновской науки: сложное легче всего понять, если разложить его на более мелкие элементы путем дифференциации и специализации. Отсюда вытекает, что для исполнения роли просвещенных граждан, наделенных гражданскими добродетелями, людям необходимы советы профессионалов, руководящих ими и способных обрисовать существующие альтернативы, предложить критерии, которые позволили бы оценить эти различные варианты.

Если для воплощения рациональности требуется компетентность, то необходима и гражданская культура, которая давала бы специалистам ощущение собственной значимости. Современная система образования (как гуманитарного, так и естественнонаучного) предполагает воспитание у граждан привычки соглашаться с указаниями профессионалов. Именно вокруг этого вращаются все споры об избирательном праве и других формах политического участия: кто обладает достаточным опытом, [чтобы стать экспертом], и кто имеет склад ума, позволяющий прислушиваться к словам таких экспертов. Короче говоря, хотя каждый человек потенциально рационален, на деле рациональны не все. Либерализм призывает наделить правами [лишь] рационально мыслящих людей, с тем чтобы они, а не лишенные способности рационально мыслить, принимали важнейшие общественные решения. Если же в условиях [политического] нажи-

ма и приходится наделить формальными правами многих из тех, кто неспособен все же действовать рационально, становится важным очертить эти права так, чтобы исключить любую возможность глупости. Это и есть источник озабоченности процессом. Процессом в этом случае считается откладывание решений на такой срок и таким образом, чтобы эксперты получили беспроигрышный шанс настоять на своем.

Исключение [из общественной жизни] неспособных практикуется всегда и везде. При этом им обещают, однако, что они будут инкорпорированы в будущем, как только выучатся, как только начнут справляться с тестами, как только обретут рациональность *тем же путем, как и сегодняшние включенные*. Хотя необоснованная дискриминация – это проклятье для либерала, либерал находит огромное различие между необоснованной и обоснованной дискриминацией.

Поэтому либеральный подход исполнен опасений перед большинством, перед неумытыми и невежественными, перед массами. Речи либералов, безусловно, всегда прославляют потенциальную интеграцию исключенных, но под ней всегда имеется в виду лишь контролируемая интеграция, усвоение тех ценностей и вовлечение в те структуры, которые сформированы и созданы ранее включенными. Перед лицом большинства либерал всегда защищает меньшинство. Но защищает он не группу, оказавшуюся в меньшинстве, а символическое меньшинство; он защищает от толпы рационально действующего героя – то есть самого себя.

Этот героический индивид компетентен и цивилизован. При этом в понятие компетентности вкладывается по существу тот же самый смысл, что и в понятие цивилизованности. Цивилизованы те, кто научился приспосабливаться к социальным нуждам граждан (civis), кто умеет быть и гражданственным, и утонченным, кто знает, как стать участником общественного договора и как выполнять определяемые таковым обязательства. Цивилизованные – это всегда «мы», а нецивилизованные – «они». Само это понятие практически неизбежно носит универсалистский характер в силу того, что ценности, которые в нем объединены, считаются универсальными; но в то же время в нем содержится и идея развития. Цивилизованности учатся; цивилизованными не рождаются. И люди, и сообщества, и народы могут *стать* цивилизованными. Компетентность представляется более инструментальным понятием. Она указывает на способность действовать (в первую очередь трудиться) в соответствии с общественными нормами. Она связана с идеей профессии, *metier*. Она является результатом образования более специального, чем то, что необходимо для цивилизованности, и сводится в основном к обре-

тению навыков социального общения еще детьми в кругу семьи. Однако считается, что между компетентностью и цивилизованностью существует тесная связь, и тот, кто компетентен, скорее всего и цивилизован, равно как и наоборот. Исключения из этого правила удивляют, кажутся аномальными и даже тревожными. Либерализм – это прежде всего совокупность правил поведения. И то, что все эти определения, пусть даже формально абстрактные, всегда связаны с классами и классовыми пристрастиями, представляется мне очевидным.

Но как только мы касаемся цивилизованности и разумности, становится ясно, что мы говорим не обо всех и каждом – не обо всех индивидах, не обо всех сообществах, не обо всех народах. Понятия «цивилизованный» и «компетентный» по сути своей относительны и описывают иерархию, в которой одни люди более цивилизованы и разумны, нежели другие. В то же время они универсальны: теоретически каждый человек способен со временем стать цивилизованным и компетентным. И их универсализм тесно связан с другой исконной чертой либерализма: патерналистским отношением к слабым, нецивилизованным и невежественным. Либерализм считает общественным долгом развитие этих людей, которое может, конечно, достигаться и индивидуальными усилиями, но предпочтительнее – если коллективными усилиями общества и государства. Потому он постоянно призывает к совершенствованию образования, *Bildung*, активизации социальных реформ.

Понятие «либеральный» имеет не только политическое значение; оно предполагает щедрость [в общественных отношениях], понимание того, что «положение обязывает», *noblsse oblige*. Сильные личности могут быть либеральны при распределении материальных и социальных благ. И здесь ясно видна связь с идеей аристократии, которую, как считается, либерализм отвергает. На деле либералы отрицают не идею аристократии как таковую, а правомерность отнесения к аристократии людей, обладающих внешними признаками статуса, определяемого заслугами предков, титулами, которые дают им привилегии. В такого рода вопросах либералы ориентированы исключительно на настоящий момент. Их интересуют, по крайней мере теоретически, только достижения той или иной конкретной личности. Аристократом, лучшим среди прочих может быть тот и только тот, кто здесь и сейчас доказывает свою наибольшую компетентность. В XX веке именно в этом смысле стало употребляться понятие «меритократия», обосновывающее социальную иерархию.

Меритократия, в отличие от знати, воплощает собой эгалитаристские представления, поскольку формально она открыта каждо-

му, кто сможет выдержать тесты, определяющие достойных. Предполагается, что заслуги не могут быть унаследованы. Но, разумеется, наследуются преимущества, которые способны существенно расширить возможности ребенка получить навыки, которые ценятся обществом. И остается фактом, что на деле результаты никогда не бывают равными, чем постоянно недовольны те, кто не удостоился формального признания и потому не обрел соответствующих положения и статуса. На это жалуются как демократы, так и «меньшинства», под которыми понимается любая (независимо от ее численности) группа, которая исторически устойчиво считается общественно неполноценной и которая в данный момент находится на низшем уровне социальной иерархии.

Те, кто компетентен, защищают свои преимущества на основе формальных универсалистских правил. Потому они отстаивают значимость формальных процедур в [разрешении] политических споров. Они по природе страшатся всего, что может называться или считаться «крайностью». Но каковы «крайности» в современной политике? К ним относится все то, что можно обозначить как «популизм». Популизм – это такой призыв к народу, в котором акцент сделан на результатах: в области законодательства, в сфере распределения социальных ролей, в обеспечении благосостояния. Либеральный центр всегда был по сути своей антипопулистским, хотя в редких случаях, когда, например, на горизонте маячила опасность фашизма, он признавал легитимность народных движений.

В популизм обычно играли левые. В политике они традиционно были популистами или, по меньшей мере, традиционно выдавали себя за таковых. Именно левые выступали от имени народа, от имени большинства, от имени более слабых и отверженных. Политики левого толка настойчиво стремились мобилизовать народные чувства и использовать их как фактор политического давления. Если же такое народное движение возникало стихийно, левые политические лидеры старались, как правило, не отстать от него. Демократы считали важным включить в общество отверженных и изгоев, что расходилось с мнением либералов о справедливом обществе, в котором преимущества имеют люди способные и компетентные.

Популизм правого толка также имел место. Но версии популизма, в который играли левые и правые, были существенно различными. Правый популизм никогда не был подлинным популизмом уже в силу того, что правые принципиально не верили в тех людей, кто не разделял их взглядов. На практике популизм правого толка сочетал в себе враждебное отношение к специалистам и определенный интерес к социальному обеспечению; но этот интерес всегда предполагал большую избирательность, то есть ограничивался вниманием

к этнически определенной группе, из которой заведомо исключались специалисты. По этой причине популизм правого толка вообще не является демократическим – в том смысле, какой мы вкладываем в это слово, считая приоритетом включение отверженных в общество.

То, что мы называем демократией, на деле противоположно популизму правого толка, как противоположно оно и тому, что мы понимаем под либерализмом. Демократия определенно предполагает настороженное отношение к экспертам и специалистам, сомнения в их объективности, бескорыстии и гражданских чувствах. Демократы видят прикрытие для новой аристократии в либеральных рассуждениях, весьма пагубных тем, что они провозглашают универсалистские принципы, которые всегда имеют своим результатом сохранение существующих моделей иерархии. Поэтому либерализм и демократия, символизирующие сущностно различные тенденции, всегда были не в ладах друг с другом.

Иногда это признается вполне открыто, как, например, в спорах вокруг знаменитого лозунга Французской революции, в котором, как нередко утверждается, либералы ставят во главу угла свободу, подразумевая при этом личную свободу, а демократы (или социалисты) – равенство. На мой взгляд, это глубоко ошибочный способ объяснения различий между ними. Либералы не просто отдают предпочтение свободе; они враждебны идее равенства, так как они враждебны любым идеям, нацеленным на результат, а понятие равенства имеет смысл только в этом значении. И для либерализма, защищающего рациональное управление, основанное на просвещенном мнении наиболее компетентных специалистов, равенство представляется нивелирующей, антиинтеллектуалной, несомненно экстремистской идеей.

В то же время неправда, будто демократы столь же оппозиционно относятся к свободе. Отнюдь! Демократы всего лишь отказываются разделять эти два понятия. С одной стороны, демократы традиционно считают, что свободы не может быть в системе, не основанной на равенстве, поскольку люди, не являющиеся равными другим, не могут иметь равных с ними возможностей участия в принятии коллективных решений. Они утверждают также, что несвободные люди не равны, ибо несвобода предполагает политическую иерархию, а последняя – социальное неравенство. Единство это с недавних пор стали называть «равносвободой» (*egaliberty* или *egualiberty*)[1]. С другой стороны, сегодня лишь очень немногие из

[1] Относительно рассуждений об egaliberte см.: *Balibar E.* Trois concepts de la politique: Émancipation, transformation, civilité. P., 1997. P. 17–53.

тех, кто считает себя левыми, готовы сделать лозунг «равносвободы» средством мобилизации масс, ибо ими движет тот же страх, какой побуждал либералов делать акцент на постепенности и компетентности: страх того, что люди, предоставленные самим себе, начнут действовать иррационально, то есть могут пойти по пути фашизма или расизма. Но можно уверенно утверждать, что народ неизменно требовал демократии, какими бы ни были официальные позиции левых партий. И те левые партии, которые отказывались принять идеи «равносвободы», на определенном этапе сталкивались с размыванием рядов своих сторонников, замечая, что их былые приверженцы уже считают их скорее «либералами», чем «демократами».

Напряженность [в отношениях] между либерализмом и демократией не является чем-то абстрактным. Она постоянно возвращается к нам в образе целого набора политических проблем и альтернатив. Эта напряженность и эти проблемы захлестнули миро-систему в межвоенный период, когда во многих странах наблюдался подъем фашистских движений. Мы помним, какие колебания и нерешительность проявили в то время как центристские, так и левые политики. Эти колебания вновь стали заметными и резкими в 90-е годы – по мере появления многочисленных деструктивных расистских движений, скрывавшихся под маской национализма, и по мере активизации в рамках самого западного мира попыток построения новой политики исключенности, основанной на антииммигрантской риторике, апеллирующей к коренному населению.

В то же время имеет место и иной вопрос, совершенно другого рода, возникший после 1968 года по мере развития движений тех маргинализированных слоев, которые заявляли свои претензии на политические права в контексте права групп, или групповых прав. Претензии эти приняли форму призывов к «мультикультурализму». Став предметом дебатов сначала в Соединенных Штатах, он обсуждается сегодня и во многих других странах, издавна претендовавших на статус либеральных. Этот вопрос часто смешивается с проблемой противостояния тому, что французы называют лепенизацией общества, но это не одно и то же[1].

[1] Понятие «лепенизация» (lepenisation) происходит от фамилии французского политика правого толка Жана-Мари ле Пена, основателя и лидера влиятельной политической партии, так называемого Национального фронта, расширившего свою электоральную базу с 3–4 процентов в начале 80-х годов до 14–15 процентов в середине 90-х. Сам Ж.-М. ле Пен, набрав 16,9 процента голосов и заняв второе место по итогам первого тура французских президентских выборов в мае 2002 года, выбил из избирательной гонки одного из ее фаворитов, действующего премьер-министра, социалиста Л.Жоспена. (*Примеч. ред.*).

Сегодня отношения между этими братьями-врагами вновь находятся в центре споров о политической тактике. И мы вряд ли добьемся существенного прогресса в данном вопросе, если не разглядим сути, скрытой за этой риторикой.

Начнем с некоторых современных реалий. Я полагаю, что в сложившейся после 1989 года ситуации существуют четыре обстоятельства, являющихся базовыми в том смысле, что именно они определяют рамки, в которых с неизбежностью принимаются политические решения. Первое из них связано с глубоким и повсеместным разочарованием в «старых левых», к которым я отношу не только коммунистические, но и социал-демократические партии, а также национально-освободительные движения. Второе заключается в массированном наступлении на контроль за движением капитала и товаров, предполагающем также и демонтаж государства благосостояния. Это наступление иногда называют «неолиберализмом». Третье сводится к постоянно растущей экономической, социальной и демографической поляризации миро-системы, которая может лишь усугубиться по мере наступления неолибералов. Четвертое обстоятельство обусловлено тем, что несмотря на все это (а быть может, и благодаря этому) требования демократии – демократии, а не либерализма – звучат сегодня громче, чем когда-либо прежде в истории современной миро-системы.

Первое обстоятельство – разочарование в «старых левых» – стало, на мой взгляд, результатом того, что с течением времени они отказались от борьбы за демократию и по сути приняли либеральную программу – в том смысле, что стали строить ее исходя из решающей роли компетентных людей. Нет сомнения, что они определяли компетентность несколько иначе, чем центристы, пускай хотя бы теоретически. На практике они вряд ли рекрутировали «своих» компетентных людей из социальных слоев, значительно отличающихся от тех, что выглядели привилегированными и в глазах либералов. Так или иначе, их реальные отличия [от иных партий] показались массам недостаточными, и они утратили народную поддержку[1].

Именно это распространившееся разочарование масс в «старых левых» открыло путь неолиберальной волне. Она поднялась на глубоко ложной риторике, касающейся глобализации. Ритори-

[1] Эту тему я детально проанализировал в книге: *Wallerstein I.* After Liberalism. N. Y., 1995 (наиболее подробно в части 4, но также и в других частях). См. также: *Wallerstein I.* Marx, Marxism-Leninism and Socialist Experiences in the Modern World-System // *Wallerstein I.* Geopolitics and Geoculture: Essays on the Changing World-System. Cambridge, 1991. P. 84–97.

ка эта обманчива потому, что нынешние экономические реалии отнюдь не новы (как не новы и вызовы, порождаемые конкуренцией между компаниями на мировом рынке), но их мнимая новизна используется для оправдания отказа от одной из исторических уступок либералов – от государства благосостояния. Именно поэтому неолиберализм нельзя считать новой разновидностью либерализма. Он перенял лишь название, но по сути это вариант консерватизма, а консерватизм, несмотря ни на что, отличается от либерализма. Исконный либерализм не смог пережить крушения «старых левых», которые, отнюдь не будучи его смертельными врагами, служили важнейшей социальной опорой либерализма, поскольку на протяжении долгого времени играли решающую роль в сдерживании «опасных» классов, требовавших демократии, поддерживая надежды (и иллюзии) относительно неизбежности прогресса. «Старые левые» утверждали даже, что этот прогресс в значительной мере станет следствием их усилий, но этот аргумент служил укреплению политической теории и практики, которые представляли собой не более чем одну из версий рассуждения либералов.

Падение «старых левых» продемонстрировало их явную неспособность противостоять поляризации миро-системы, особенно во всемирном масштабе. Неолибералы воспользовались этим, заявив, что данная проблема может быть решена на основе их программы. Эта претензия абсолютно безосновательна, ибо по сути программа неолибералов лишь подчеркивает невиданные темпы происходящей в миро-системе экономической, социальной и демографической поляризации. Более того, их нынешнее наступление возродило процесс поляризации в пределах богатых стран, относительно долго сдерживаемый государством благосостояния, причем особенно явно – в период с 1945 по 1970 год. Вместе с растущей поляризацией пришла и нарастающая иммиграция с Юга (включающего и то, что раньше именовалось Востоком) на Север, несмотря на все новые и новые законодательные и административные барьеры, воздвигаемые на пути легальной миграции.

Но что самое важное – влияние демократических настроений сегодня сильнее, чем когда-либо прежде; и, вероятно, прежде всего благодаря, а не вопреки всему отмеченному выше. Сила этих настроений проявляется в трех специфических требованиях, выдвигаемых повсюду в мире: больше возможностей для образования, лучшие условия охраны здоровья и повышение средних доходов. Причем минимально приемлемые уровни [социальной обеспеченности], озвучиваемые в этих требованиях, постоянно повышаются, но никогда не снижаются. Это, конечно, резко расхо-

дится с программой демонтажа государства благосостояния и увеличивает вероятность острого социального конфликта, [способного проявиться] как в виде более или менее стихийной мобилизации трудящихся (что случается, например, во Франции), так и в более жестокой форме гражданских волнений (как в Албании, где резко упало благосостояние людей, участвовавших в финансовых «пирамидах»).

Если с 1848 по 1968 год мы жили в мире, геокультура которого основывалась на либеральном консенсусе, что открывало либералам возможность распоряжаться понятием «демократия» по собственному усмотрению и изматывать силы ее сторонникам, то теперь мы находимся в мире Йитса, где для «центра нет места». Мы стоим перед жестким выбором: либо «равносвобода», либо ни свободы, ни равенства; или реальные усилия, направленные на инкорпорирование в общество всех и каждого, или глубоко разделенный мир, своего рода система всемирного апартеида. Влияние, которым обладал либерализм с 1848 по 1968 год, заставляло демократов либо принять установки, носившие либеральный оттенок, либо обречь себя на политическое забвение. Они выбрали первое, что и определило путь «старых левых». Сейчас, однако, перед выбором стоят выжившие либералы: они могут либо принять до некоторой степени демократические установки, либо утратить свое политическое влияние. Это можно видеть при более тщательном рассмотрении двух больших споров между либералами и демократами: дискуссий вокруг проблем мультикультурализма и лепенизации.

Какие вопросы обсуждаются в споре о мультикультурализме? Группы, которым прежде (как на национальном уровне, так и в глобальном масштабе) отказывалось в участии в политической жизни, в достойном материальном вознаграждении, в социальном признании и праве на культурную самобытность, – прежде всего женщины и цветные, а также многие иные группы – выдвинули свои требования тремя различными способами. Во-первых, они подвели исторические итоги и заявили, что таковые абсолютно постыдны. Во-вторых, они обратились к тому, что считается достойным изучения и почитания, к тем, кто признан «историческими личностями», и показали, что по сей день подобный отбор ведется весьма пристрастно. В-третьих, они поинтересовались, не являются ли критерии объективности, использованные для оправдания этих реалий, ошибочными, и не сами ли эти критерии служат их главным генератором.

Ответ либералов заключался в том, что требования [равенства] результатов суть требования квот, что, в свою очередь, может при-

вести лишь к повсеместному распространению посредственности и возникновению новых иерархий. Они утверждали, что уважение и историческая значимость не устанавливаются декретами, а измеряются объективными критериями. Они говорили, что искажение таких критериев – это скользкий путь к полному субъективизму и потому – к полной социальной иррациональности. Это слабые аргументы, но они указывают на реальные проблемы, порождаемые мультикультурализмом с его смутными формулировками самоопределения.

Проблема притязаний, выдвигаемых мультикультурализмом, состоит в том, что им чуждо какое бы то ни было самоограничение. Во-первых, само количество групп не имеет естественного предела и может расти бесконечно. Во-вторых, эти притязания рождают неразрешимые споры об иерархии исторических несправедливостей. В-третьих, если на протяжении жизни одного поколения и вносятся определенные корректировки, нет никакой уверенности, что они сохранятся для следующего поколения. Не следует ли сделать их периодическими? В-четвертых, эти притязания не дают ключа к распределению редких, а тем более уникальных ресурсов. В-пятых, нет и гарантии того, что мультикультуралистское распределение окажется в конечном счете эгалитарным, поскольку упомянутые притязания могут на деле просто привести к установлению новых критериев членства в кругу компетентных лиц, наделяемых привилегиями.

Трудно не заметить, сколь пусты такие антимультикультуралистские аргументы в том исполненном масштабного неравенства мире, в котором мы сегодня живем. Несмотря на вопли публицистов, протестующих против политкорректности, мы еще далеки от мира, где господствовали бы реалии мультикультурализма. Мы делаем лишь первые шаги по пути устранения исторической несправедливости. Чернокожие, женщины и многие другие все еще в значительной мере ущемляются в правах, несмотря на незначительные эпизодические улучшения своего положения. Вне всякого сомнения, еще нескоро маятник качнется в их сторону.

Гораздо важнее начать серьезное исследование путей создания таких структур и организации таких процессов, которые двигали бы нас в правильном направлении, не заводя в западни, которых справедливо опасаются либералы. И здесь либералам, пусть и вымирающему виду, но имеющим мощные интеллектуальные традиции, следовало бы поставить свои способности на службу единой команде, вместо того, чтобы осуждающе брюзжать с обочины. Например, разве не полезнее было бы для людей типа Алена Сокала подискутировать с теми, кто ставит глубокие вопросы о структурах знания, чем

опровергать нелепые крайности, лишь усложняя обсуждение наиболее существенных проблем?

Но следует постоянно иметь в виду [одну] проблему: проблему исключения, решение которой не стало ближе от так называемого прогресса современной миро-системы. Она стоит сегодня даже острее, чем раньше. А ведь именно демократы считают борьбу с исключенностью [людей из общества] своим приоритетом. Если инкорпорирование в социум сложно, то исключение из него аморально. И либералы, стремящиеся к построению справедливого общества, к формированию разумно устроенного мира, должны помнить о веберовском различении формальной и сущностной рациональности. Формальная рациональность решает проблемы, но ей недостает души, в силу чего в итоге она оказывается саморазрушительной. Сущностную рациональность исключительно трудно определить, она допускает произвольные искажения, но в конечном счете именно она и есть то, что необходимо справедливому обществу.

Мультикультурализм – это проблема, которая никуда не исчезнет до тех пор, пока мы живем в мире неравенства, а он будет существовать столько же, сколько будет существовать капиталистическое миро-хозяйство. Я думаю, что это продлится не так долго, как считают многие, но даже на мой взгляд, потребуется еще лет пятьдесят, чтобы нынешняя историческая система окончательно рухнула[1]. И основным вопросом этих пятидесяти лет будет вопрос о том, какую историческую систему нам строить взамен имеющейся. А здесь встает проблема лепенизации, поскольку мир, в котором расистские, проповедующие исключительность движения обретают растущую роль и оказываются способными определять повестку политических дискуссий, – такой мир имеет все шансы породить структуры, которые покажутся сторонникам расширения «равносвободы» еще хуже нынешней.

Возьмем конкретный пример французского Национального фронта. Это движение выступает как против компетентности, так и против инкорпорирования [в общество всех потенциальных членов]. Тем самым оно отрицает как либеральные, так и демократические принципы и цели. Что же с ним делать? Оно черпает свои силы из бессознательной тревоги представителей различных общественных классов по поводу своей личной безопасности, физической и материальной. Эти люди имеют серьезные основания для

[1] Более детальная аргументация представлена в написанных мною гл. 7 и 8 книги: *Hopkins T.K., Wallerstein I.* (coordinators) The Age of Transition. Trajectory of the World-System 1945–2025. L., 1996.

беспокойства. Национальный фронт, как и все подобные движения, обещает три вещи: большую физическую безопасность, обеспечиваемую репрессивным государством; большую материальную безопасность, достигаемую посредством реализации невнятной программы, сочетающей принципы неолиберализма и государства благосостояния; и самое важное – указывает на истинных виновников переживаемых людьми трудностей. В случае Национального фронта этими виновниками оказываются прежде всего «мигранты» (этот термин используется для обозначения всех не-белых, то есть тех, кто не может быть причислен к западноевропейцам); не забывается при этом и о надлежащей роли женщин. Еще одним козлом отпущения, осторожно упоминаемым время от времени, но не слишком открыто, чтобы избежать применения французских антирасистских законов, служат умные и богатые евреи, космополитичные интеллектуалы, а заодно и все нынешние политические элиты. Короче говоря, причина всех бед – в отверженных и умных.

На протяжении долгого времени отношение к Национальному фронту было уклончивым. Консерваторы стремились компенсировать потерю пошедших за ним избирателей смягчением своих позиций по проблеме исключенности. Либералы-центристы, независимо от того, принадлежали ли они к Объединению в поддержку Республики, Союзу за французскую демократию или Социалистической партии, вначале пытались игнорировать Национальный фронт, надеясь, что, столкнувшись с безразличием, он исчезнет сам собой. Категорически выступала против исключения [тех или иных групп] из общества горстка движений (таких, как «SOS-расизм»), отдельных интеллектуалов и, конечно, представителей самих подвергавшихся нападкам групп. Когда в 1997 году Национальный фронт впервые получил явное большинство на муниципальных выборах в Витролле, тревожная кнопка оказалась нажатой, и началась общенациональная мобилизация. Правительство, разрывавшееся между консерваторами и либералами-центристами, отказалось от ряда пунктов предлагавшегося антииммиграционного законодательства, но сохранило все остальные. Победила линия, направленная на отвоевывание голосов избирателей у Национального фронта.

Какой была программа демократов? В целом она предполагала, что все уже живущие во Франции люди должны быть так или иначе «интегрированы» во французское общество через наделение их правами, и провозглашала отказ от репрессивного законодательства. Критически важным в данном случае было то, что все это относилось к людям, уже проживающим во Франции, и, воз-

можно, к добропорядочным беженцам. Никто не посмел предложить устранение всех ограничений передвижения людей через границы, хотя это уже стало фактом в ряде северных стран и исторически практиковалось в большинстве стран мира вплоть до XX столетия. Такая осторожность была вызвана прежде всего существовавшими у французских демократов опасениями, что подобная их позиция могла бы усилить влияние Национального фронта в рабочей среде.

И если я обращаюсь к этой крайней позиции, то делаю это исключительно потому, что это помогает высветить проблему. Если стоит вопрос об исключенности, то почему борьба против нее должна идти лишь в пределах [одного] государства, а не повсюду в мире? Если вопрос в компетентности, то почему ее следует определять в рамках государственных границ, а не в мире в целом? И если нас вдохновляют консервативные, так называемые неолиберальные идеи дерегулирования, то почему не начать дерегулирование передвижения людей? Ни во Франции, ни где-либо еще нельзя быть уверенным в том, что расистские, проповедующие исключенность движения будут остановлены, если эти проблемы не поставить со всей ясностью и определенностью.

Вернемся к вопросу об отношениях либералов и демократов. Одни, как я отмечал, в первую очередь стремятся защищать компетентность. Другие, на что я тоже указывал, считают приоритетом борьбу с исключенностью. Нетрудно спросить: а почему не заняться и тем, и другим? Но отнюдь не просто уделить равное внимание обеим проблемам. Компетентность, по самому ее определению, предполагает исключенность. Если есть компетентность, есть и некомпетентность. Инкорпорированность предполагает равную значимость участия каждого [в жизни общества]. На уровне правительств при принятии политических решений две эти задачи почти неизбежно вступают в конфликт. *Братья* становятся *врагами*.

Лучшие дни либералов уже позади. Сегодня нам угрожает пришествие тех, кто не хочет ни компетентности, ни инкорпорированности; иначе говоря, перед нами открывается перспектива худшего из миров. Если мы хотим поставить на их пути преграду, если мы хотим построить новую историческую систему, мы можем сделать это только на основе единения. Для либералов пришло время положиться на демократов. Если они сделают это, они по-прежнему будут играть достойную роль. Либералы по-прежнему могут напоминать демократам о рисках [решений, принимаемых] неуемным и торопливым большинством, но им следует делать это, лишь признавая неоспоримый приоритет большинства при коллективных реше-

ниях. Кроме того, либералы могут постоянно призывать и к исключению из сферы коллективного тех вопросов, решение которых следует оставить индивиду, а вопросов этих – несметное множество. Такая позиция приветствовалась бы в демократическом мире. И, разумеется, отдавая инкорпорированности приоритет перед компетентностью, мы говорим прежде всего о политической сфере. Мы не предлагаем игнорировать значение компетентности на рабочем месте или в мире науки.

Существует старая шутка об отношениях богача и мудреца. Богач говорит мудрецу: «Если ты такой умный, почему ты такой бедный?» Ответ: «Если ты столь богат, то почему же ты не умен?» Давайте немного изменим эту шутку. Либерал говорит демократу: «Если ты представляешь большинство, то где же твоя компетентность?» Ответ: «Если ты такой разумный, почему же ты не заставишь большинство согласиться с твоими предложениями?»